

КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА В ИСТОРИИ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ

*Да, он чувствовал русскую суть,
как никто.*

И. С. Тургенев

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) – ключевая фигура для понимания феноменологии русского духа в его движении к “блаженству абсолютного знания”¹, в частности, и для уяснения того, “как русский дух переработал Гегелево учение”² и использовал его в качестве путеводной нити в поисках истины. Не будем останавливаться на хрестоматийных представлениях о Белинском как “замечательном литературном критике”, но не глубоком социальном мыслителе сектантского типа³, пропагандировавшем в России поверхностно усвоенную гегелевскую философию. Русская художественная литература была для него откровением “субъективных тайнств души человеческой”, немецкая философия – сокровищницей терминов, в коих это откровение истолковывалось. Необычайно продуктивное воображение Белинского позволило ему категориально оформить то интуитивное понимание жизни, которое присуще русскому человеку, заключающему в себе “бездонную пустоту” и ужасающемуся этой пустоте⁴. Его сильнейшее интеллектуальное влияние на современников известно. Достаточно вспомнить восторженные оценки А. И. Герцена, видевшего в Белинском “самую деятельную, порывистую, диалектически-страстную натуру бойца”, личность самобытную, сильную и искреннюю⁵. “По-моему, служить связью, центром целого круга людей – огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном”⁶, – утверждал он. Таким центром в 30-е годы XIX столетия был Н. В. Станкевич, в 40-е им стал его друг Белинский.

Похожее рассуждение о личности Белинского как центральной натуре находим и у И. С. Тургенева, который вслед за Н. В. Станкевичем и М. А. Бакунином стал для “выгнанного из университета за леность студента” источником информации о гегелевской философии: “Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральнойатурой; то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, малый запас познаний, его неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы

необходимости, имели значение историческое. ... Но это не мешало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего времени. Ибо, во-первых, он, хотя и не был учен, знал, однако, довольно для того, чтобы иметь право говорить и наставлять других; а во-вторых – он знал именно то, что нужно знать, и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре⁷.

Итак, тут дело вовсе не в поверхностном гегельянстве Белинского, как казалось, например, Д. И. Чижевскому, не нашедшему (подобно Ю. Ф. Самарину) в его произведениях ничего, кроме чужих, заимствованных мыслей⁸. Дело в том, что Белинский – это уникальное явление мыслящего русского человека в условиях подавляющего, массового безмыслия, многозначительный “факт русской жизни” (как говорил о нем В. П. Боткин), точнее, русской духовной жизни в ее экстатической фазе⁹, чем и интересен для нас сегодня. Белинский был гением в буквальном смысле этого слова, то есть духом, притом духом, осознающим себя во всех моментах своего развития. Идея духовного развития личности стала для него регулятивной и определяющей максимой. Его жизнь заключает в себе нечто поучительное, более того – парадигмальное для всякого русского, отказавшегося от примирения с “гнусной расейской действительностью” – с “обществом, в котором действуют и играют роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии...”¹⁰, где “нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей”¹¹. Ему было суждено выполнить миссию “центральной монасты”¹² по отношению к дремлющей и грязающей наяву России, стать выразителем ее смутных, не вполне осознанных “задушевных мыслей” – того, “что есть в тусклом сознании масс”¹³. Аналогичная миссия в тот же исторический период выпала на долю любимого писателя Белинского Н. В. Гоголя, воссоздавшего коллективные сновидения и галлюцинации страны мертвых душ, предугадавшего в своих образах (“рылах и харях”) тот психотип, который в конечном счете оседает обезумевшую, несущуюся в никуда Россию. И в том, и в другом случае мы видим работу русского гения, пытавшегося овладеть стихией абсурдной, бессознательно-психической жизни России, обрести в духовной борьбе с русским хаосом некое абсолютно значимое, спасительное знание.

Прав был Н. А. Бердяев, видевший в деятельности Белинского “характерно русское искание целостного мировоззрения, которое дает ответ на все вопросы жизни, соединяет теоретический и практический разум, философски обосновывает социальный идеал”¹⁴. Уточним, используя терминологию настольной книги русских гегельянцев¹⁵: речь шла тогда, прежде всего, о моральном мировоззрении, то есть о той ступени в самодвижении духа, на которой ему в зове совести впервые открывается несомненная достоверность и обязывающая мощь его собственного бытия. Вся русская литература XIX века (как и сопутствовавшая ей философская критика) была увлечена выработкой целостного морального мировоззрения и в связи с этим позволяла себе и поверхностно-просветительские нравоучения, и тон религиозного пророчества, граничившего с ересью. В любом случае точка зрения моральной рефлексии была преобладающей¹⁶. Отсюда – выдвижение на передний план сознания проблемы оправдания (или осуждения-отверждения) Бога, сотворившего мир, полный зла и страдания. Отсюда же – и своеобразный русский воинствующий атеизм, проникнутый религиозной жаждой возмездия и спасения, страстным ожиданием преображения мира.

Согласно Гегелю, “моральное мировоззрение” есть чистая совесть, отвергающая действительность как нечто ничтожное, “простое знание и желание чистого долга” как абсолютной сущности и единственной существенной цели, противостоящей “полнотью лишенной какого-либо значения действительности”¹⁷. В нем находит свое выражение “дисгармония между сознанием долга и действительностью, а именно – его собственной действительностью”¹⁸. Искание целостного морального мировоззрения необходимо сопряжено не только с решительным отрицанием мира, лежащего во зле, но и с самоотрицанием ищущего духа, с мучительными переживаниями пневматиком собственного несовершенства. Поэтому Гегель, вслед за Кантом, и усматривал в этой стадии духовного развития “целое гнездо неосмысленных противоречий”¹⁹, смесь иллюзий, притворств, самообманов и саморазоблачений. Исследова-

тель, прошедший школу гегелевской “Феноменологии духа”, способен без труда идентифицировать ту ступень духовной жизни, на которой работал русский гений в XIX веке, и не будет со злорадством ловить на противоречиях русских литераторов-моралистов, этих мучеников чистой совести²⁰.

Примечательно, что и Герцен, и Тургенев в своих мемуарах заостряют внимание на поражавшей их “нравственной чистоте” Белинского, бывшего в глазах современников человеком чистой совести. “Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его “наглости”, возмущались его “грубостью”, писали на него доносы, распространяли про него клеветы, – эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ, – вспоминал Тургенев. – ... Невозможно представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов”²¹. Это значит, что в своей недолгой жизни он был алчущим и жаждавшим правды, что и в своих чрезвычайно сложных отношениях с друзьями-единомышленниками, и в своем социальном активизме он был словно *не от мира сего*, исходил из чисто духовной мотивации, действовал без оглядки на “прагматический интерес” (Станкевич Н. В.) или конъюнктурные соображения. *Воля-иметь-совесть*²² безусловно определяла стиль его поведения в ситуациях повседневного общения и в литературном творчестве. Она же вела его через добри фихтеанства, шеллингианства и гегельянства²³ к просвету собственного бытия.

Нужно сказать в связи с этим, что и так называемое “западничество” Белинского не было пропагандой *несобственного бытия*, к которому будто бы следует насильственно приобщить Россию. В его философско-исторических размышлениях мы усматриваем попытки обоснования особого пути России к обретению подлинной самобытности (точнее – *самобытия*) через освоение духовного опыта Запада и отталкивание от него. “Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата – впрочем, относиться и к ним свободно, критически – вот каким образом могли бы мы, по его понятию, достигнуть, наконец, самобытности, которую он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот... благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы”²⁴. Главные признаки русского западника 40-х годов XIX века, отличающие его от западника нынешнего, здесь указаны, и важнейший из них – русскость, до сих пор раздражающая либералов²⁵. “А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая била во всем его существе, – тому доказательством служит каждая его статья, – завершает свою мысль Тургенев. – Да, он чувствовал русскую суть, как никто”²⁶.

Ясное и отчетливое выражение сути собственного бытия, смутно чувствуемой массой дремлющих (= “мертвых”) душ, – такова духовная функция центральной монады, выполняя которую, она излучает “неотразимую мощь”²⁷ и распространяет интеллектуальное влияние далеко за пределы своего ближайшего окружения. Герцен вспоминал, как статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца и поглощались в кофейнях с лихорадочным сочувствием, со смехом и спорами²⁸. Еще более впечатляющую духовную экспрессию мы находим в личной переписке Белинского²⁹. В ноябре 1839 г. он просит В. П. Боткина: “Скажи Грановскому, что чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь, но начинаю сознавать, что это с ее субстанциальной стороны, но ее определение, ее действительность настоящая начинают приводить меня в отчаяние – грязно, мерзко, возмутительно, нечеловечески...”³⁰ Такое двойственное, по сути, софийно-гностическое отношение к “душе России” как к падшей в историческое время, прекрасной психоматериальной субстанции типично для лучших русских умов³¹ двух последних столетий. Не зря в своем разборе мировоззрения Белинского Бердяев упомянул и гностика Маркиона³².

Кровная любовь к России требует крови. Еще в октябре 1838 года Белинский признавался Бакунину, что “фихтеанизм понял как робеспьеризм и в новой теории чуял запах крови”³³. Очевидно, философию Фихте он воспринял

несколько упрощенно: как стратегию безрассудно-волевого натиска субъекта на действительность с целью перекроить ее по своим идеальным схемам. Разочарование в “фихтеанской отвлеченности” наступило очень быстро, поскольку в ней не нашлось места для реального субъекта действия. Вместо него фигурировало бесплотное, абстрактное “Я”, борющееся с “Не-Я”. Белинский, следя подсказке Станкевича, ищет выход из абстракций фихтеанства в самой исторической действительности: “Петр Великий (который был очень плохой философ) понимал действительность больше и лучше, нежели Фихте, – утверждает он. – Всякий исторический деятель понимал ее лучше его”³⁴. Отшатнувшись от Фихте, Белинский обратился к гегелевской диалектике, увидев в ней искусство осмыслиения исторической действительности, схваченной в конкретном, динамическом единстве субъективно-идеального и объективно-реального. Бакунин воспринял этот антифихтеанский “бунт против идеальности” как падение³⁵, возвращение в пошлую, бездуховную повседневность, хотя смысл поднятого Белинским бунта был в другом: то была неудачная попытка преодолеть ставшую привычной точку зрения моральной рефлексии. “Долой ярмо долга, к дьяволу гнилой морализм и идеальное резонерство! – неистовствовал Белинский. – Человек может жить – всё его, всякий момент жизни велик, истинен и свят!”³⁶ В своей борьбе с “резонерской идеальностью” и “болезненной рефлексией”, закрывающей глаза на действительность и создающей свою – “небывалую и абстрактную”³⁷, Белинский использует гегелевскую философию права, к которой его приобщал тот же Бакунин. “Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила, – нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал эти слова, – писал он Станкевичу в октябре 1839 года, – это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола и случайности, – и кончилась моя тяжкая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде”³⁸.

Это новое умонастроение явно было навеяно прямухинскими чтениями последних параграфов “Основ философии права”, где Гегель развертывает величественную концепцию мировой истории как всемирного суда (не нуждающегося, вопреки мнению либералов-субъективистов, ни в каких трибуналах). Всемирная история, по словам Гегеля, не есть “абстрактная и лишенная разума необходимость слепой судьбы”, но развитие моментов разума и тем самым самосознания и свободы всеобщего духа³⁹. Свершающийся в событиях мировой истории всемирный суд не считается ни с чем “человеческим, слишком человеческим” (включая и вымышленные контрактарианцами “права человека”), поскольку в нем реализуется абсолютное право мирового духа на выбор того исторического народа, усилиями которого будет осуществляться идея свободы. При этом выбранный мировым духом народ, как правило, не осознает конечной цели и смысла своих исторических свершений. Такого рода труд самосознания и полагания коллективной цели выпадает на долю гениальных одиночек – всемирно-исторических индивидуумов. Их самоотверженные деяния – ответы на зовы духа времени, которых не слышит коснеющая в бессовестности посредственность. Именно эти мысли Гегеля разжигали огонь негации⁴⁰ в сознании русских западников, самыми радикальными из которых были “наши московские гегельянцы” – Белинский и Бакунин, “каждый с томом Гегелевской философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений”⁴¹. Но и период гегельянского поклонения Логосу мировой истории, превращающему любое лицо в средство достижения нечеловеческих целей, был для Белинского недолгим. Уже в 1840 году он снова встает на сторону субъекта, правда, защищает при этом уже не идеальное “Я”, а реальную личность в ее конкретном существовании. “Идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи” целиком поглощает его. Происходит явный сдвиг в сторону персонализма и экзистенц-философии, предпосылки которой уже были заложены поздним Шеллингом, восставшим против гегелевского негативизма. “Я давно подозревал, что философия Гегеля – только момент, хотя и великий, – писал Белинский В. П. Боткину 1 марта 1841 года. – ...Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля,

ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейской действительностью... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (то есть гегелевской всеобщности”⁴². Тем не менее, озлобление против Гегеля не освободило Белинского от усвоенного им принципа гегелевской философии – принципа негации: “Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание – мой бог, – проговаривается Белинский. – В истории мои герои – разрушители старого – Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон (“Кайн”) и т. п.”⁴³.

Инспирированный гегелевской диалектикой, Белинский превратил свою жизнь в сплошной эксперимент – в рискованное испытание “чудовищной мощи негативного”⁴⁴ и сам едва не стал “фурией разрушения”⁴⁵. И это – в условиях всевластия политического произвола и оправдывающей его системы позитивного права, карающего человека за свободно высказанную мысль, за само “волнение свободы”. Что же имел в виду Тургенев, говоривший о том, что Белинский, как никто другой, выразил “русскую суть”? Косвенный ответ на этот вопрос – в посвящении романа “Отецы и дети” памяти Белинского, имя которого, видимо, ассоциировалось в сознании писателя с известной ступенью переживания свободы, связанной с беспощадным отрицанием действительности – как внешней, “окружающей”, так и действительности самого нигилиста, его внутренней пустоты и ничтожества. Этот тяжкий опыт великого разрыва – опыт отречения⁴⁶ и неприятия всего, что в мире, включая и свое чисто мирское бытие “в модусе падения”, стал для Белинского исходным пунктом в движении к духовной самостоятельности и “блаженству абсолютно-го знания”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Белинский В. Г. Собр. соч. в девяти томах. Т. 9. М., 1982. С. 118.
- ² Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 5. М., 1956. С. 14.
- ³ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 31, 36. “Был у нас один критик, которого действительно можно назвать великим, без малейшего оттенка иронии. Имя этого критика дорого каждому русскому человеку, способному читать и думать” (см.: Писарев Д. И. Соч. в четырех томах. Т. 4. М., 1956. С. 294).
- ⁴ Белинский В. Г. Т. 9. С. 135, 203, 213, 267.
- ⁵ Герцен А. И. Т. 5. С. 19, 25, 28.
- ⁶ Там же. С. 7.
- ⁷ Тургенев И. С. Собр. Соч. в двенадцати томах. Т. 11. М., 1956. С. 238.
- ⁸ Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007. С. 135–169. Этот знаток Гегеля (или “недопеченный философ”, который “немного понюхал Гегеля”) мог бы проявить осторожность в различиях “своих” и “чужих” мыслей, поскольку все мысли, согласно “Науке логики”, – достояние Мирового духа, и рассуждения о праве интеллектуальной собственности здесь неуместны. “Можно быть человеком всегда умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время на периферии, на окружности, если можно так выразиться, своего народа...” Эти слова И. С. Тургенева можно отнести и к упомянутому знатоку русского гегельянства, презиравшему Белинского за чужемыслие (см.: Тургенев И. С. Т. 11. С. 238).
- ⁹ Переживания “мистерии духа” подобной интенсивности испытывают русские мальчики-соловьевцы (Андрей Белый, Александр Блок, Сергей Соловьев и Алексей Петровский) в начале XX столетия.
- ¹⁰ Белинский В. Г. Т. 9. С. 381.
- ¹¹ Белинский В. Г. Т. 8. С. 282.
- ¹² Заемствуем этот термин из метафизики Г. В. Лейбница.
- ¹³ Герцен А. И. Т. 5. С. 26, 34.
- ¹⁴ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 31–32. Буквально ту же мысль об “искании целостного мировоззрения” русскими интеллектуалами 40-х гг. XIX века в то же самое время (т. е. в 1937 году) высказал и Г. В. Флоровский (см.: Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 246).

- ¹⁵ Н. В. Станкевич первым стал использовать терминологию гегелевской “Феноменологии духа” (1807) для изображения развития “маленького эмпирического я”, пытающегося обрести “прочное сознание своей духовной самостоятельности” и всеохватывающее знание о “мире в его целости”. Один из терминов – прекраснодущие (*Schönseeligkeit*) – стал особенно популярным в кружке Станкевича (см.: Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982. С. 180, 187, 191, Белинский В. Г. Т. 9. С. 88–89, 106, 113, 118, 229, 301, 304, 341).
- ¹⁶ Исключением был М. Ю. Лермонтов с его “Демоном” и “Героем нашего времени”, первооткрыватель не типичного для русских имморализма, который позднее в сознании Владимира Соловьева правильно увязывался с нищешеством.
- ¹⁷ Hegel G. W. F. *Phenomenologie des Geistes*. Berlin, 1975. S. 444, 424. В 1837 году Белинский писал Бакунину: “Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте благодаря тебе в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота” (см.: Белинский В. Г. Т. 9. С. 78).
- ¹⁸ Ibid. S. 433. “Ты недоволен собой? – писал Станкевич Т. Н. Грановскому 29 сентября 1836 года. – Поблагодари за это Бога. ... Все затруднение в том, как перейти от этого состояния недоверчивости к себе и сомнений к деятельности – деятельности полной и разумной, которая бы удовлетворила тебя, дала мир и наслаждение душе твоей” (см.: Станкевич Н. В. Избранное. С. 148).
- ¹⁹ Hegel G. W. F. *Phenomenologie des Geistes*. S. 434.
- ²⁰ Для феноменологии русского духа, зафиксировавшего себя на ступени моральной рефлексии, очень показательны исповеди Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого, а также – вплетенные в романы Ф. М. Достоевского проповеди. Любопытно, что точка зрения моральной рефлексии ассоциировалась для русских интеллектуалов с позицией Гамлета, живущего отрицанием и самоотрицанием, решавшего действовать по велению совести, а не по команде извне (“Отмсти!”). В 1837 г. Станкевич рассказывал своей предполагаемой невесте Л. А. Бакуниной о постановке шекспировского “Гамлета” в Москве: “...тут мы сидели рядом с Белинским: это удваивало для меня наслаждение – мы так хорошо понимаем друг друга, я во многом так ему сочувствую, что в иные минуты, право, бывает одна душа с ним” (см.: Станкевич Н. В. Избранное. С. 157). Примечательно, что феномен единодушия-единомыслия подмечен здесь русским представителем “гамлетовского типа” (разорванного “несчастного сознания”), ведь Станкевич во многом – тургеневский “Гамлет Щигровского уезда”. Нечто “гамлетовское” – в тургеневском понимании – было и в Белинском. Нужно сказать, что это понимание было вариацией гегелевской трактовки личности Гамлета, данной в “Феноменологии духа” (позднее – в “Эстетике”).
- ²¹ Тургенев И. С. Собр. соч. Т. 10. С. 278. Оценки Тургенева совпадали с суждениями Станкевича о Белинском – “это душа добрая, энергическая, умственный” (см.: Станкевич Н. В. Избранное. С. 125).
- ²² Используем термин хайдеггеровской экзистенциальной аналитики *Dasein* (вот-бытия).
- По Гегелю, совесть есть “достоверно знающий себя дух”, обладающий истиной в самом себе, в своем знании о долге, противополагаемом неприемлемой действительности. В размышлениях Тургенева о Белинском как человеке чистой совести явно обыгрываются мотивы соответствующего фрагмента гегелевской “Феноменологии духа”, которую он изучал в Берлине вместе с Бакуниным при участии профессора-гегельянца Карла Вердера. Позднее в “Основах философии права” Гегель говорил о совести как “глубочайшем внутреннем одиночестве, где исчезает все внешнее и всякая ограниченность, полной замкнутости в себе самом”, как о возвышенной точке зрения, присущей погруженному в себя современному миру и отличающей его от предшествующих более чувственных эпох (см.: Hegel G. W. F. *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. Frankfurt am Main, 1986. S. 254).
- ²³ Каждая из трех систем германского идеализма поочередно захватывала экзистенцию русского правдоискателя. Приобщение к ним всякий раз переживалось Белинским как духовное обращение (см.: Станкевич Н. В. Избранное. С. 111) и имело для него инициатический смысл. В нем словно персонифицировался тот самый “перехватывающий дух”, который не нуждается в многознании для того, чтобы понять главное, и над которым напрасно посмеивался Герцен (см.: Герцен А. И. Т. 5. С. 15).
- ²⁴ Тургенев И. С. Т. 10. С. 293.

- ²⁵ По случаю 200-летия Белинского либералы высказали на радиостанции “Свобода” и в российских печатных СМИ ряд искажающих масштаб его личности поверхностных суждений, продолжив в этом плане линию “Вех”. Белинский-пневматик остается недоступным для понимания псевдоинтеллектуалов-психиков и тогда, когда они в своей борьбе с мыслящим русским духом пытаются использовать враждебные отзывы Ф. М. Достоевского или оценки В. В. Розанова. Примечательно, что авторы пренебрежительных высказываний о Белинском используют его незначительные журналистские публикации и игнорируют созданные им экзистенциально значимые тексты – письма-диссертации М. А. Бакунину или В. П. Боткину, его герменевтические опыты, в которых литературно-художественное произведение истолковывалось как выражение “мистерии духа”.
- ²⁶ Там же. С. 294.
- ²⁷ Там же. С. 295.
- ²⁸ Герцен А. И. Т. 5. С. 26.
- ²⁹ “...Вся жизнь моя в письмах” (Белинский В. Г. Т. 9. С. 462).
- ³⁰ Белинский В. Г. Т. 9. С. 291.
- ³¹ У примитивных (“квасных”, по выражению П. А. Вяземского) патриотов, как известно, все “однозначно”. Символикой этой любви-ненависти насыщена поэзия Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока. Ее анализ и многоразличные толкования – в творчестве Льва Толстого, Достоевского, Чехова, Бунина, Розанова и Бердяева.
- ³² Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 35.
- ³³ Белинский В. Г. Т. 9. С. 201.
- ³⁴ Там же. С. 197.
- ³⁵ Падение – один из ключевых терминов феноменологии русского духа, которая развертывается перед нами в переписке Белинского с Бакуниным и Боткиным. Существованию в модусе падения друзья-гегельянцы противопоставляли восстание, или “жизнь в Духе” (см.: Белинский В. Г. Т. 9. С. 134, 156, 213).
- ³⁶ Там же. С. 263. Восхищение Белинского “мужественным духом, сильным и гордым, жаждущим жизни для жизни” свидетельствовало о том, что он преодолевал точку зрения моральной рефлексии и пытался выйти на более высокий уровень самосознания (см.: Белинский В. Г. Т. 9. С. 326).
- ³⁷ Там же. С. 293.
- ³⁸ Там же. С. 261–262.
- ³⁹ Hegel G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. S. 504.
- ⁴⁰ Введение термина “огонь негации” в “Письмах об изучении природы” (1844) свидетельствует о том, что Герцен, как ранее Бакунин (в 1838 г.), разгадал-таки “тайну гегелевской философии”.
- ⁴¹ Герцен А. И. Т. 5. С. 13.
- ⁴² Белинский В. Г. Т. 9. С. 443. Таким образом, Белинский на сто лет опередил Сартра в формулировке принципа атеистического экзистенциализма. В “Основах философии права” Гегель утверждал: “Только в субъекте может реализоваться свобода, так как он есть истинный материал для этой реализации...” (см.: Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. S. 206), т. е. не более чем средство, как верно понял Белинский.
- ⁴³ Белинский В. Г. Т. 9. С. 483. См. также: Гегель о “праве героев” на насильственные действия против лишь существующего социального порядка: Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. S. 179–180, 197).
- ⁴⁴ Hegel G. W. F. Phenomenologie des Geistes. S. 29. Этот лейтмотив гегелевской “Феноменологии духа” (тезис о всевластии “госпожи Смерти”) звучит в исполнении Белинского следующим образом: “Смерть, смерть! Вот истинный бог мира! Ее владычество для всех равно несомненно – ей слава вечная, ей поклонение!” (Из письма А. П. Ефремову 23 августа 1840 г. в связи со смертью Н. В. Станкевича. См.: Белинский В. Г. Т. 9. С. 395.)
- ⁴⁵ Hegel G. W. F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. S. 50. Станкевич о Белинском-бестии в 1836 году: “вот он – кулак, все сокрушающий!” (см.: Станкевич Н. В. Избранное. С. 142, 146). Из всех русских гегельянцев собственно “фурией разрушения” стал на деле один Бакунин.
- ⁴⁶ Бакунин и Боткин упрекали Белинского в слабоволии, в том, что тот “мало развил в себе Entschluss”, т. е. отречение – этот “элемент воли” (см.: Белинский В. Г. Т. 9. С. 317, 331, 345).